

БОРИС ЛЬВОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ



А зори здесь тихие...



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Русская классика (АСТ)

Борис Васильев

А зори здесь тихие... (сборник)

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Васильев Б. Л.

А зори здесь тихие... (сборник) / Б. Л. Васильев —
«Издательство АСТ», — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-104546-3

В книгу вошли наиболее известные произведения Бориса Васильева о Великой Отечественной войне. «А зори здесь тихие...» – шедевр русской «военной прозы», посвященный великому, однако не попавшему в сводки военных событий подвигу пяти юных девушек-зенитчиц, под руководством старшины вступивших в неравный бой с отрядом немецких диверсантов. Действие повести «Завтра была война» происходит накануне Великой Отечественной войны. Это история о школьниках, их взрослении, история о выпускниках, которым совсем скоро предстоит взять в руки оружие и отправиться на фронт – защищать Родину. Повесть «В списках не значился» – о последнем защитнике Брестской крепости, лейтенанте Плужникове. История, повествующая о преданности, любви и смерти – и, конечно, о настоящем подвиге русского солдата.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-104546-3

© Васильев Б. Л.
© Издательство АСТ

Содержание

А зори здесь тихие...	6
1	6
2	10
3	15
4	20
5	26
6	33
7	40
8	45
9	49
10	54
11	58
12	63
13	67
14	71
Эпилог	74
Завтра была война	75
Глава 1	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Борис Васильев

А зори здесь тихие...

© Б. Л. Васильев, наследники, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

А зори здесь тихие...

1

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодух и вдовушек, умеющих добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладилась переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.

– Чепушиной занимаетесь! – гремел прибывший по последним рапортам майор. – Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то!

– Шлите непьющих, – упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. – Непьющих и это... Чтоб, значит, насчет женского пола.

– Евнухов, что ли?

– Начальству виднее, – осторожно говорил старшина.

– Ладно, Васков, – распаяясь от собственной строгости, сказал майор. – Будут тебе непьющие. И насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

– Так точно, – деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за две недели не прибыло ни одного человека.

– Вопрос сложный, – пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. – Два отделения – это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

– С командиром прибыли?

– Непохоже, Федот Евграфыч.

– Слава богу! – Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. – Власть делить – это хуже нету.

– Погодите радоваться, – загадочно улыбнулась хозяйка.

– Радоваться после войны будем, – резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел на улицу.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

– Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, – тусклым голосом отрапортовала старшая. – Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

– Та-ак, – совсем не по-уставному протянул старшина. – Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

– Из расположения без моего слова ни ногой, – объявил он, когда все было готово.

– Даже за ягодами? – робко спросила плотненькая: Васков давно уже приметил ее как самую толковую помощницу.

– Ягод еще нет, – сказал он. – Клюква разве что.

– А щавель можно собирать? – поинтересовалась Кирьянова. – Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, будто попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, теперь не могло быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Но пуще всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

– Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, – сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. – Они вас промеж себя старичком величают, так что смотрите на них соответственно.

Федоту Евграфовичу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то тряпочки. Подобные украшения старшина счел неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

– Демаскирует.

– А есть приказ, – не задумываясь, сказала она.

– Какой приказ?

– Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись – хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комарья народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно и вправду был стариком, – вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще и восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

– Вдовая она, – поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. – Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Промолчал старшина: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну прежде всего, конечно, – дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают – это все так. А внутри – беспорядок: «Люда, Вера, Катенька – в караул! Катя – разводящая».

Разве ж это команда? Развод караулов положено по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это порушить надо, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у той один ответ:

– А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

– Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

– Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

– Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю – в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

– Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди себя соответственно.

– Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже – медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они – не гляди, что рядовые, – наука. «Упреждение, квадрант, угол сноса...» Классов семь, а то и все девять: по разговору видно. От девяти четыре отнять – пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выпадало, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь да плясать да винцо попить. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне – за догадливость.

Вот за этот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему тот пакгауз блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал, печати и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздыхнул старшина.

2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер: встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно вечер тот только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким героем не был, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в самодеятельности и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались зарегистрировать брак, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него – к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять из всех видов оружия, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом, Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до подхода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар, – на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский, огород...» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу – направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «А»...

Теперь Рита могла считать себя довольной: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти: у Риты была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съезжился: корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

– Стреляй, Рита! Стреляй! – кричали зенитчицы. А Рита ждала, не сводя перекрестья с падающей точки. Но когда немец перед самой землей рванул кольцо, выбросив парашют, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигурку, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

– Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее оказались сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто – зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости; болтали взахлеб о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

– Спать! – коротко бросала она, выслушав очередное признание. – Еще услышу о глупостях – настоишься на часах вдоволь.

– Зря, Ритуха, – лениво пеняла Кирьянова. – Пусть себе болтают: занятно.

– Пусть влюбляются – слова не скажу. А так, по углам лизаться, – этого я не понимаю.

– Пример покажи, – усмехалась Кирьянова. И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое когда-нибудь может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина – тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу – курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

– Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

– У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, – объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

– Один из штабных командиров – семейный, между прочим, – завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

– Давайте, – сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.

– Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день баннным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели:

– Женька, ты русалка!

– Женька, у тебя кожа прозрачная!

– Женька, с тебя только скульптуру лепить!

– Женька, ты же без лифчика ходить можешь!

– Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...

– Несчастливая баба, – вздохнула Кирьянова. – Такую фигуру в обмундирование паковать – это ж сдохнуть легче.

– Красивая, – осторожно поправила Рита. – Красивые редко счастливыми бывают.

– На себя намекаешь? – улыбнулась Кирьянова.

И Рита замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти – пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

– Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита – хоть и знала про полковника досконально – спросила:

– И у тебя тоже?

– А я одна теперь. Маму, сестру, братишку – всех из пулемета уложили.

– Обстрел был?

– Расстрел. Семьи комсостава захватили и – под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала: специально добивали...

– Послушай, Женя, а как же полковник? – шепотом спросила Рита. – Как же ты могла, Женя?

– А вот могла! – Женька с вызовом трянула рыжей шевелюрой. – Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и – странное дело! – Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже песни пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то в перерыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет – заслушаешься.

– На сцену бы тебе, Женька! – вздыхала Кирьянова. – Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетрянула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала – расцвела Галка Четвертак. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, расспросила и сказала:

– Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за отъезд агитировать. Почему, отчего – никто не понимал, но примолкли: значит, так надо, – Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на 171-й разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый же грузовик.

– Далеко собралась, красавица? – спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

– До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

– Подремли, деваха, часок.

А утром была на месте.

– Лида, Рая, – в наряд!

Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась только:

– Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может отгадет.

И Васкову – ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита – меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

– Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется – и сгоришь.

– Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

– Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела ответить, одернуть – Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

– Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит – света невзвидишь. Пример был: двух подружек из второго отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа – с обеда до ужина – мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то что за реку – со двора выходить зареклись.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные – от зари до зари – сумерки дышали густым настоем наливающихся трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина и возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распорядясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и зная не знала, что директива имперской службы

СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, цеплялся за одежду, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел шупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены сарая, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первый поворот и – замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом через кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала: никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в кусты, прислушалась.

Тишина.

Задышавшись, ринулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

– Товарищ комендант! Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге – в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубаше с завязками. Хлопал сонными глазами.

– Что?

– Немцы в лесу!

– Так... – Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе разыгрывают. – Откуда известие?

– Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные.

– Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку – второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубаше сидела на кровати, разинув рот.

– Что ты, Федот Евграфыч?

– Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

– Команду – в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха – к пожарному сараю, а он – в будку железнодорожную. К телефону. Только бы связь была!..

– «Сосна»! «Сосна»!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо опять поломка... «Сосна»!
«Сосна»!..

– «Сосна» слушает.

– Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепе!

– Даю, не ори. Чепе у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

– Ты, Васков? Что там у вас?

– Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

– Кем обнаружены?

– Младшим сержантом Осяниной.

Кириянова вошла. Без пилотки, между прочим. И кивнула, как на вечерке.

– Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать.

– Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим – тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

– Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка, мыслю я.

– Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

– Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

– Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.

– Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кириянова там?

– Тут, товарищ...

– Дай ей трубку.

Кириянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да пять раз поддакнула. Положила трубку, дала отбой.

– Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

– Ты мне ту давай, которая видела.

– Осянина пойдет старшей.

– Ну, так. Стройте людей.

– Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеси с такими лес, лови немцев с автоматами. А у них тут, между прочим, одни родимые образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года...

– Вольно...

– Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

– Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли.

– Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

– Да, вот еще. Может, кто немецкий знает?

– Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

– Что – я? Что такое – я? Докладывать надо!

– Боец Гурвич.

– Ох-хо-хо! Как по-ихнему – руки вверх?

– Хенде хох.

– Точно, – махнул рукой старшина. – Ну, давай, Гурвич.

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

– Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм, подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все – сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина – со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то смоталась, но постель так и не прибрала, две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

– Значит, на этой дороге встретила?

– Вот тут. – Палец Осяниной слегка колупнул карту. – А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

– К шоссе?.. А чего это ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

– Просто по ночным делам, – не глядя, пояснила Кирьянова.

– Ночным!.. – Васков разозлился: вот ведь врут! – Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

– Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, – опять сказала Кирьянова.

– Нету здесь женщин! – крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. – Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.

– То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля.

– К шоссе, говоришь, пошли?

– По направлению...

– Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло, не к шоссе... Да вы хлебайте, хлебайте.

– Там кусты и туман, – сказала Осянина. – Мне казалось...

– Креститься надо, коли что кажется, – проворчал комендант. – Тючки, говоришь, у них?

– Да, и, вероятно, тяжелые: в правых руках несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

– Мыслию, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

– До Кировской дороги неблизко, – сказала Кирьянова недоверчиво.

– Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

– Если так, – заволновалась Осянина, – надо же охране на железную дорогу сообщить.

– Кирьянова сообщит, – сказал Васков. – Мой доклад – в двенадцать тридцать ежедневно, позывной «Семнадцать». Ты ешь, ешь, Осянина, топать-то весь день придется.

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив особенно.

– Разуться всем!

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как километра через три вояки эти ноги свои соьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их младший сержант Осянина правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще столько же – винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

– Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать, не курить и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

– Знаем, – сказала рыжая. – Одна – справа, другая – слева.

– Скрытно, – уточнил старшина. – Порядок движения такой будет: впереди – головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах – основное ядро: я... – он оглядел свой отряд, – с переводчицей. В ста метрах за нами – последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры!..

– Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

– Я умею, – робко сказала Гурвич. – По-ослиному. И-а! И-а!

– Ослы здесь не водятся, – с неудовольствием заметил старшина. – Ладно, давайте кричать учиться. Как утки.

Показал, а они рассмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

– Так утица утят собирает, – пояснил он. – Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах – не поймешь, где шире: Васков еще в первый день на нее внимание обратил. И голос лихо поддельвает, и вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские – Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

– Идем на Воль-озеро, смотрите сюда. – Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно. – Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам – верст двадцать, к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

– Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять – вот это война...

– Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы – вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то – что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться! Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза – на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил.

– Послезавтра вернусь. Либо – крайний срок – в среду.

Заплакала. Эх, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел за околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздыхнул:

– Готовы?

– Готовы, – сказала Рита.

– Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два кряка – внимание, вижу противника. Три кряка – все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два кряка, три кряка. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

– Головной дозор, шагом марш!

Двинулись. Впереди – Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, скаткой да сидором с харчами гнулась, как тростинка. Последними шли Комелькова и Галя Четвертак.

4

За бросок к Вось-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам аккурат накануне финской. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряде, и миновать гряде эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно получалось дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как на медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаточки и посему сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило пока что так, как он и замыслил.

– Хорошо немчура побегает, – сказал он своей напарнице. – Здорово очень даже побегает – верст на сорок.

Переводчица на это ничего не ответила, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

– Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

– Сиротствую?.. – Она улыбнулась. – Пожалуй, знаете, сиротствую.

– Сама, что ль, не уверена?

– А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

– Резон.

– В Минске мои родители. – Она подергала тощим плечом, поправляя винтовочный ремень. – Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

– Известия имеешь?

– Ну, что вы...

– Да... – Федот Евграфыч покосился: прикинул, не обидит ли. – Родители еврейской нации?

– Естественно.

– Естественно... – Комендант сердито посопел. – Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

– Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробыный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоче. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.

– А ну, боец Гурвич, крякни три раза!

– Зачем это?

– Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?
Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

– Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась – и винтовка в руке:

– Что случилось?

– Коли б что случилось, так вас бы уж архангелы на том свете встречали, – выговорил ей комендант. – Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась – аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

– Устали?

– Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

– Вот и хорошо, – миролюбиво сказал Федот Евграфыч. – Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

– Вроде ничего... – Рита замялась. – Ветка на повороте сломана была.

– Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова?

– Ничего не заметила, все в порядочке.

– С кустов роса сбита, – торопливо перебила вдруг Лиза Бричкина. – Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

– Вот глаз! – довольно отметил старшина. – Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге несколько следов. От немецких резиновых ботинок, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться.

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Потому Васков и нахмурился.

– Не реготать! И не разбегаться. Все!

Показал, куда вещмешки сложить, куда – скатки, куда винтовки поставить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых – со звоном! – слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

– Сейчас внимательнее надо быть, – сказал комендант. – Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но – след в след. Тут слева-справа трясины – маму позвать не успеете. Каждый слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть попробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок.

– Ну, у кого силы много?

– А чего? – неуверенно спросила Лиза Бричкина.

– Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

– Зачем? – пискнула Гурвич с возмущением.

– А затем, что не спрашивают. Комелькова!

– Я.

– Взять мешок у красноармейца Четвертак.

– Давай, Четвергачок, заодно и винтовочку...

– Разговорчики! Делать что велят: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щebetать. А щebet военному человеку – штык в печенку. Это уж так точно...

– Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь...

– Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.

– Что вам, боец Комелькова?

– Что такое – слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.

– Что у вас в руках?

– Дубина какая-то.

– Вот она и есть слега. Ясно говорю?

– Теперь прояснилось. Даль.

– Какая еще даль?

– Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника.

– Евгения, перестань! – крикнула Осянина.

– Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я – головной. За мной – Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина – замыкающая. Вопросы?

– Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро – бочажок.

– Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колено – только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, принаравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

– Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

– Не стоять! Не стоять, засосет!..

– Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают слегой в трясину: сапог, что ли, нащупывают?

– Нашли?

– Нет еще!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он вовремя заметил. Заорал так, что жилы на лбу вздулись:

– Куда?! Стоять!

– Я помочь...

– Стоять! Нет назад пути!

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине – смерть.

– Спокойно, спокойно только. До островка пустык остался, там передохнем. Нашли сапог?

– Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина! И холодно!

– Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим.

– А сапог как же?

– Да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед, за мной!.. – Повернулся, пошел не оглядываясь. – След в след! Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но обошлось.

У острова, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

– Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

– Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали товарищи бойцы. Только Лиза поддакнула:

– Умаялись...

– Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы доберемся – и шабаш.

– Нам бы помыться, – сказала Рита.

– На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечное дело, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, погрела голый палец ладошками, спросила несмело:

– А мне как же без сапога?

– А мы тебе чуню сообразим, – улыбнулся Федот Евграфыч. – Только уж там, за болотом, не здесь. Потерпишь?

– Потерплю.

– Растрепала ты, Галка, – сердито сказала Комелькова. – Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.

– Я загибалась, а он все равно слез.

– Холодно, девочки.

– Я мокрая до самых-самых... – Женька хитро посмотрела на старшину. – Вам по пояс будет.

– Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду...

Смеются. Значит, еще ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода – лед... Федот Евграфыч еще раз затыкнулся, кинул в болото окурочек, встал. Сказал бодро:

– А ну, разбирай следи, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на том бережку.

И шархнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа – что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.

– Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

– Пивячки тут есть? – задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному, и ей было маленько полегче.

– Негу тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

– Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его... – Подумал немного и добавил: – Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, уже прямо-таки в затылок шли. К березе почти разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что земля все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели все разом, обрадовались и слуги побросали. Однако Федот Евграфыч слуги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.

– Может, сгодятся кому.

А отдохнуть не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел.

– Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок – сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

– Ура!.. – заорала звонкая Комелькова. – пляж, девочки!

Девушки закричали, завопили что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки...

– Отставить! – гаркнул комендант. – Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

– Песок!.. – Старшина сердито потыкал пальцем. – Песок это, понятно? А вы в него винтовки суετε, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки – все в одно место. На мытье и приборку даю полчаса. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

– Есть, товарищ старшина.

– Ну, все. Через тридцать минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и – чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты рядом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье простирнул, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул, чтоб хоть проветрило. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул – вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоился «гвардию» свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло – и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А за кустами гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись дружно и много, да Четвертак радостно выкрикивала:

– Ой, Женечка! Ай, Женечка!

– Только вперед!.. – заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула вода.

«Ишь ты, купаются...» – уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего невозможно было разобрать, а потом Осянина резко крикнула:

– Евгения, на берег! Сейчас же!

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катушкой» по кремню, прикурил от затлевающего фитиля и начал неспешно, с наслаждением курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За полчаса, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

– Готовы, товарищи бойцы?

– Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала:

– Идите! Можно!

Это старшему-то по званию «можно» кричат подчиненные! Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим отметил, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, румяном и улыбчивом.

– Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

– Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

– Молодец, Комелькова. Не замерзла?

– Так ведь все равно погреть некому.

– Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да и двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок) да из свежей бересты кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом.

– Ладно ли?

– Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

– Ну, в путь, товарищи бойцы, нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: требовалось, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались – покраснелись только.

– А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться – и снова:

– За мной! Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Воль-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры – все ушли на фронт.

– Тихо-то как, – шепотом сказала Евгения. – Как во сне.

– От левой косы Синюхина гряда начинается, – пояснил Федот Евграфыч. – С другой стороны эту гряду другое озеро поджимает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

– Безмолвия здесь хватает, – вздохнула Гурвич.

– Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да камня с избу. Вот в них-то мы и должны позицию выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика – по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался – и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина старшина и есть: он всегда для бойцов старей. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было – в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был участником Гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысль насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное. Вроде как смущающее даже.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него так вот ловко все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное – отличную позицию он выискал. Глубокую, с укрупными подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам пришлось бы часа три гряды огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки и примера подчиненным сделал, потому что с двумя-то десантниками наверняка мог управиться и здесь, на основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, если не больше, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась, он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтобы костер был без дыма.

– Замечу дым, вылью все варево в тот же момент. Ясно говорю?

– Ясно, – упавшим голосом сказала Лиза.

– Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера он лично наломал сушняку, лично развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма видно не было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, такого глаза быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрелов, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

– Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

– Я наворачиваю, – улыбнулась она.

– Вижу! Худющая, как весенний грач.

– У меня конституция такая.

– Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а – в теле.

Есть на что поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насоби-рал, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

– Слушай боевой приказ! – торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что правильно поступает насчет этого приказа. – Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Воль-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек приказано держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева – Воль-озеро, сосед справа – Легонтово озеро... – Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: – Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

– А почему это меня в запасные? – обиженно спросила Четвертак.

– Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

– Ты, Галка, наш резерв, – улыбнулась Осянина.

– Вопросов нет, все ясно, – бодро сказала Комелькова.

– А ясно, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры и углы обзора и еще раз предупредил, чтоб лежали как мыши.

– Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

– По-немецки? – съехидничала Гурвич.

– По-русски! – резко сказал старшина. – А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю? Все промолчали.

– Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому до крайности: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

– С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не командую. А то не погляжу, что женский род... – Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой и добавил: – Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил бойцов попарно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом маманю попро-

силь. И маманю увидел: шустрюю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто ворюя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя его над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то за ногу его тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

– Немцы?

– Где?.. – испуганно дернулась она.

– Фу, леший... Показалось.

Рита посмотрела на него, улыбнулась:

– Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

– Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз: под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила – спины не видно. Стала гребенку вести – и руки не хватает, перехватывать приходится. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

– Крашенные, поди? – спросил старшина и испугался, что съязвит она сейчас, и кончится вот это вот: простое.

– Свои. Растрепанная я?

– Это ничего.

– Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

– Ладно, ладно. Оправляйся.

Во леший, опять это слово выскочило! Потому ведь, что из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный...

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

– Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

– Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

– А где ваша жена?

– Известно где – дома.

– А дети есть?

– Дети?.. – вздохнул Федот Евграфыч. – Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

– Умер?

Отбросила назад волосы, глянула – прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то и не удержался Васков, вздохнул:

– Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру.

– Как там у тебя, Осянина?

– Никого, товарищ старшина.

– Продолжать наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть...

– Кому читаешь-то? – спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

– Кому, спрашиваю, читаешь?

– Никому. Себе.

– А чего ж в голос?

– Так ведь стихи.

– А-а... – Васков не понял. Взял книжку – тонюсенькая, что наставление по гранатомету, – полистал. – Глаза портишь.

– Светло, товарищ старшина.

– Да я вообще... И вот что: ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

– Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

– Вот. А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила им ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

– Откуда будешь, Бричкина?

– С Брянщины, товарищ старшина.

– В колхозе работала?

– Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

– То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

– Ничего не заметила?

– Пока тихо.

– Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

– Понимаю.

– Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

– «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож», – с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант, кашлянул и пояснил: – Это припевка в наших краях такая.

– А у нас...

– После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

– Честное слово? – заулыбалась Лиза.

– Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

– Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались!

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряды на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запропастилась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на вещмешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

– Ты чего скукожилась, товарищ боец?

– Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли...

– Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

– Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного – обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал – фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

– Так примешь или водой разбавить?

– А что это?

– Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

– Ой, что вы, что вы...

– Приказываю принять! – Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. – Пей. И воды сразу.

– Нет, что вы...

– Пей без разговору!

– Ну, что вы в самом деле! У меня мама – медицинский работник...

– Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давась, со слезою пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонью размазала, улыбнулась:

– Голова у меня... побежала!..

– Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:

– Отдыхай, товарищ боец.

– А вы как же без шинели-то?

– Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый – все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

– Может, зря сидим?

– Может, и зря, – вздохнул старшина. – Однако не думаю. Ежели ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли вообще какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уж бед натворить уйму: стрелнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

– Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу.

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке...

– погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

– А может, спят они сейчас, Федот Евграфыч?

– Спят?..

– Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда – единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

– погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А? Так мыслю?

– Так, товарищ старшина.

– А коли так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?

Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят.

– Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

– Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

– Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

– Закурим, товарищ Рита?

– Я не курю.

– Да, насчет того, что и они – тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

– Я не хочу спать.

– Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

– Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, – улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и – заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:

– Что?

– Тише! Слышишь?

Рита сбросила шинель, одернула юбку, вскочила.

Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

– Птицы кричат...

– Сороки! – Федот Евграфыч тихо засмеялся. – Сороки-белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе – гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место – впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал патрон в винтовку. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами. Громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему подобралась.

– Доброе утро, товарищ старшина.

– Здорово. Как там Четвертак этот?

– Спит. Будить не стали.

– Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.

– Не высунусь, – пообещала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования – уцелеть, – минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

– Ну, идите же, идите, идите... – беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким коша-чим шагом они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку.

– Три... пять... восемь... десять... – шепотом считала Гурвич. – Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина. Шестнадцать...

Замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки. Шестнадцать диверсантов, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

6

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел смысл собственного существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Воль-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

– Шестнадцать, товарищ старшина, – почти беззвучно повторила Гурвич.

– Вижу, – сказал он, не оборачиваясь. – Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию же секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь» – автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое июньское утро...

– Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, донельзя растопыренные глаза, подмигнул:

– Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их, поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала и неуверенно улыбнулась.

– Дорогу назад хорошо помнишь?

– Ага, товарищ старшина.

– Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

– Там, где вы хворост рубили?

– Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

– Да знаю я, товарищ...

– Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело – болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир – береза. От березы – прямо на две сосны, что на острове.

– Ага.

– Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целясь на обгорелый пенек, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

– Ага.

– Доложишь Кирыановой обстановку. Мы тут фрицев покругим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

- Ага.
- Винтовку, вещмешок, скатку – все оставь. Налегке дуй.
- Значит, мне сейчас идти?
- Слегу перед болотом не забудь.
- Ага. Побежала я.
- Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко – можно разглядеть лица, – а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно поступил, послав именно Лизу Бричкину.

Удостоверившись, что диверсанты не заметили связного, старшина поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямик побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не слышно было топота.

- Товарищ старшина!..

Бросились, как воробьи на коноплю, даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски сдвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, будто в бригадном стане:

- Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак.

- Ну, как ты?

- Ничего. – Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. – Я спала хорошо.

– Стало быть, шестнадцать их. – Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал. – Шестнадцать автоматов – это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

– Бричкину я в расположение послал, – сказал он погодя. – На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.

- Что же, смотреть, как они мимо пройдут? – тихо спросила Осянина.

– Нельзя их тут пропустить, через гряды, – сказал Федот Евграфыч, – надо с пути сбить. Закружить надо, вокруг Легонтова озера направить, в обход. А как? Просто боем – не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и – все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало – сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил. После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка, – мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах он порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из вещмешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались – это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил? Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место – вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне данном – ровно пятеро. А потом?.. А потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться.

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил – Осяниной, Комельковой и Гурвич. Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

– Ежели через час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что – готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Достал из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли.

– Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и – сообразил комендант. Сообразил: часть – какая б ни была – границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы – в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, навряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь – и все: засекут, сообщат куда требуется. Потому никогда ведь неизвестно, сколько душ лес валят, где они, какая у них связь...

– Ну, девчата, орлы вы у меня!

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес – непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. Но из-за кустов все же не слишком высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни – все, что армейскую форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку смотрелись, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверен-

ность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костры палить. А вот левый фланг на себя и Комелькову взял: тут другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если б фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить бы успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, подрубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

– Идут, товарищ старшина!..

– По местам, – приказал Федот Евграфыч. – По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите, позвончее да почаше орите.

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак (подтянулась к тому времени) все еще на том берегу копошились. Гурвич голой ногой воду шупала, а Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуноу ее прикручивали. Старшина подошел поспешно:

– Погоди, перенесу.

– Ну, что вы, товарищ...

– Погоди, сказал. Вода – лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи.

– Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней – ведь не чурбак нес все-таки, – а сказал совсем другое:

– По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала – холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подбрав. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась.

– Ну и водичка – бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:

– Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

– Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

– Давай, девки, нажимай веселей!..

Издали Осянина тотчас же отозвалась:

– Эге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить невозможно было. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой повалить успели, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

– Может, ушли? – шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это он подумал так. А сказал коротко:

– Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и – вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

– Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу: без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры, на шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он наверняка прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут тогда по нему из всех автоматов, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаятся. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся: стоя сзади него на коленях, Евгения зло стягивала гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

– Стой... – зашипел старшина. – Приказываю...

– Рая, Вера, идите купаться!.. – звонко выкрикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А гибкая Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая – в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит – и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

– Девчата, айда купаться!.. – звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. – Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

– Эге-гей, иду!.. – заорал он и снова ударил по стволу. – Идем сейчас, погоди!.. О-го-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не валивал – и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал. Выглянул осторожно.

Женька уже на берегу стояла – боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-под леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому

неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставив солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

– Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть – не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место – сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой.

– Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила – не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему – шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он сел рядом и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

– Уходи отсюда, Комелькова, – изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего уже не мог слышать. Увести ее, увести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

– Добром не хочешь – народу тебя покажу! – заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. – А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился достаточно.

– Одевайся. И хватит с огнем играть. Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся – а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

– Ну, все теперь, – говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельем. – Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

– Прибежит, – сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. – Она быстрая.

– Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, – сказал комендант и достал заветную фляжку. – Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделявать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел

в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное – позади...

7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечкивал – отодвигал.

– Помрет у нас мать-то, – строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибиралась в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее селыпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и осязаемым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом – свидания с подружками, потом – редких свободных вечеров на пяточке возле клуба, потом... Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить стороной веселые компании, а потом и вовсе перестала появляться в клубе.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

– Пожить у нас хочет, – сказал он дочери. – А только где же у нас? У нас мать помирает.

– Сеновал найдется, наверно?

– Холодно еще, – несмело сказала Лиза.

– Тулуп дадите?

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал ее в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил.

– Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

– Чистить надо, – подтвердил гость. – Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

– Так, – сказал отец. – Так, понимаем. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегают да пиш-шит?

– Волк, например...

– Волк?.. – взъерошился отец. – Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

– А потому, что у него зубы, – улыбнулся охотник.

– А он что, виноват, что волком уродился? Виноват? Не-ет, мил человек, это мы его обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?

– Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть – понятия несовместимые.

– Несовместимые? Ну, а волк и заяц – совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взались мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России! Всех! Что будет?

– Как что будет? – улыбался охотник. – Дичи много будет.

– Мало!.. – рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. – Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Это можно, только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или из-за границы покупать для страху?

– А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? – вдруг тихо спросил гость.

– Чего меня кулачить? – вздохнул хозяин. – Прибытку у меня – два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

– Им?

– Ну, нам!.. – Отец плеснул в стаканы, чокнулся. – Я не волк, мил человек, я – заяц. – Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.

– Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страхась столкнуться с ним взглядом, боясь, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

– Неосторожный у вас отец.

– Он красный партизан, – торопливо сказала она.

– Это мы знаем, – улыбнулся гость и встал. – Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребке. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

– Постойте здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ошупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет светливой и бесполовой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилося сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и – исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал курить на сеновале.

– Я знаю, – сказал он и затоптал окурок. – Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его; он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

– Что это вы ничего с охоты не приносите? – сказала она, набравшись храбрости.

– Не везет, – улыбнулся он.

– Исхудали только, – не глядя, продолжала она. – Разве ж это отдых?

– Это прекрасный отдых, Лиза, – вздохнул гость. – К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

– Завтра?.. – упавшим голосом переспросила Лиза.

– Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

– Смешно, – печально согласилась она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как убралась на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы. А потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

– Кто? – тихо спросил он.

– Я, – прошептала Лиза. – Может, постель поправить...

– Не надо, – сухо перебил он. – Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

– Что, скучно?

– Скучно, – еле слышно сказала она.

– Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не признавалась, – может быть, даже поцеловали. Но не могла же она признаться, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

– Иди спать, – сказал он. – Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой о лестницу и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость попрощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

– А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал смятый клочок бумаги.

– Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай, устрой в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего – даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел,пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, крепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь

на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия неизблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

– Неправда это! Неправда!..

– Влюбилась! – торжествующе ахнула Кирьянова. – Втюрилась наша Бричкина, девочки!

В душку военного втюрилась!

– Бедная Лиза! – громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

– Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина – от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнулись, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, – сказал старшина. – Вот выполним боевой приказ – и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Все кругом было в буреломе, сухостоях и валежнике, и Лиза быстро подобрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепenea от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на острове.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было полное одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не исчезал, а с каждым шагом все больше и больше накапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывая слезы по толстым щекам, дрожа от холода, одиночества и омерзительного липучего страха.

Вскочила вдруг – и слезы уже не текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как двигаться дальше, и, не отдохнув, не успокоившись, не собравшись с духом и силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела отдышаться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки по дороге и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустыяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми ее поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым рывком приближался берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять начала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там поглядим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед нею. Это было так неожиданно, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно шарахнулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повиснув где-то в холодной зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага до нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

– Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет – теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко отоврался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился и – как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий и отлично понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведаёт, что он там еще напридумал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой облоге, когда не поймешь, кто за кем охотится: ты за медведем или медведь за тобой. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

– Держи за мной, Маргарита. Я стал – ты стала, я лег – ты легла. С немцем в хованки играть – почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли в заросли всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал – весь взведенный был, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил – и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряды, выбрались на основную позицию, а потом – в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно и не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать так ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшарил, послушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

– Чуешь? – тихо спросил Васков и посмеялся будто про себя. – Подвела немца культура: кофею захотел.

– Почему так думаете?

– Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень – туже некуда, присел.

– Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется – немедля, в ту же секунду, уходи. Забирай девчат и уходи, и топайте напрямиком на восток аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

– Нет, – сказала Рита. – А вы?

– Ты это, Осянина, брось, – строго заметил старшина. – Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж если обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита нахмуренно молчала.

– Что отвечать должна, Осянина?

– Ясен – должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда же он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли

насквозь; она полежала еще немного, а потом отползла назад и села на камень, настороженно вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чашу. Остановился уже в скалах.

– Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

– Почему же?

– Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

– Мокро там очень, Федот Евграфыч.

– Мокро... – недовольно повторил старшина. – Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

– Значит, угадали вы?

– Я не ворожея, Осянина. Десяток человек пищу принимают – видал их. Двое в секрете справа: остальные, надо полагать, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням ползаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно – сюда. И чтоб смеху – ни-ни!

– Я понимаю.

– Да, я там махорку сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

– Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все близкие и дальние камни на животе излазал. Всмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чувствовался, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру – ну, самое позднее, к рассвету! – подойдет подмога, он поставит ее на след и... и отведет девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издали определил. Вроде и не шумели, не брякали ничем, не шептались, а – поди ж ты! – комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед них несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Куриль до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да рошицам, от соблазна кiset на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кiset спросил. А Осянина только руками всплеснула.

– Забыла, Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской – чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кisetом. А тут улыбку пришлось пристраивать.

– Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется. Сидор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кisetа, потому что кiset тот был подарок, и на нем было вышито: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросилась.

– Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

– Куда, боец Гурвич? Товарищ переводчик!..

Какое там: только сапоги затопали... А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в кааптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сониная семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневым наливком.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги на два номера больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительской и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц – нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И наверно поэтому ее голос услышал один старшина.

– Вроде Гурвич крикнула?

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

– Нет, – сказала Рита. – Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

– Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она – с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу оказывается всегда уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось.

А старшина весь заостренный был, на тот крик заостренный. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого

последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил – рядом со следом.

Разлапистый след был. С рубчиками.

– Немцы?.. – жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принохивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и – задохнулась.

– Неаккуратно, – тихо сказал старшина и повторил: – Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул за ремень, приподнял чуть, чтобы под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая – пониже – в сердце.

– Вот ты почему крикнула, – вздохнул старшина. – Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул – все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть – не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся:

– Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

– Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

9

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце... Нет, успела. И понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все выходило? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уже высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх – ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся... Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнил и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог: погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они спешат. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело пока и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

– Отдышись, – еле слышно сказал Федот Евграфыч. – Тут они где-то. Близко где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не желало успокаиваться.

– Вот они, – шепнул старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

– Мимо пройдут, – не оглядываясь, продолжал Васков. – Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они оглянулись. И обратно замри. Поняла ли?

– Поняла, – сказала Женька.

– Значит, как крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк: наперерез.

Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело – на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб – как в воду...

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, кружевных еще листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов опасался, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож – только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крикнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено – тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть ни охнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще только поворачиваться начал. Но то ли у Васкова сил на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он все же, а только не достал этого фрица ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя – драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней да березок, но немец покуда помалкивал: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоился, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу острым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец – даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

– Молодец, Комелькова... – в три приема сказал старшина. – Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был фриц, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже и не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

– Ну вот, Женя, – тихо сказал Васков. – На двоих, значит, меньше их стало.

Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала. Маму, что ли...

Старшина поднялся. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда

ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой очерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом была, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал.

И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только Богу душу отдал, хрипеть перестав, – кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь ее перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

– Уйдите...

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

– Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

– Брось, – сказал он. – Попереживала и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже – фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, рожки запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток невелик, а ей все легче. Меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровящую всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их – что конопущек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

– Может, ополоснешься?

Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздыхнул старшина:

– Наших сама найдешь или проводить?

– Найду.

– Ступай. И – к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

– Нет.

– С опаской все же иди. Понимать должна.

– Понимаю.

– Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре – не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мок-

рых век кровь и накрыл тем же платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый – рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось держаться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они противника с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера – сутки топтать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло – в разные, правда, концы, – а барахлишко их осталось, и отряд уже обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Сою увидев, но Осянина крикнула зло:

– Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

– Ну, обряжайте, – сказал старшина.

Взял топор (эх, лопатки не захватили на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался – скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Нарубил веток, устелил дно, вернулся.

– Отличница была, – сказала Осянина. – Круглая отличница – и в школе и в университете.

– Да, – покивал старшина. – Стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла Соня детишек нарожать, а те бы – внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

– Берите, – сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак – за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную им чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

– Стойте, – сказал он у ямы. – Кладите тут покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

– За ноги ее поддержи.

– Зачем?

– Держи, раз велют! Да не здесь – за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

– Зачем?.. – крикнула Осянина. – Не смейте!..

– А затем, что боец босой, вот зачем.

– Нет, нет, нет!.. – затряслась Четвертак.

– Не в цапки же играем, девоньки, – вздохнул старшина. – О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.

– Обувайся. И без переживаний давай, немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Сою, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив, а Комелькова – веточку зеленую.

– На карте отметим, – сказал. – После войны – памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

– Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

– Нет!.. Нет!.. Нет, нет, нельзя так! Вредно! У меня мама – медицинский работник...

– Хватит врать! – крикнула вдруг Осянина. – Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно – словно игрушку у ребенка сломали...

10

– Ну, зачем же так, зачем? – укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. – Нам без злобы надо, а то остервенеем. Как немцы остервенеем.

Смолчала Осянина.

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, на четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не имелось ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморожденные шерлоки холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на Мальчика-с-пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя притихла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкомат и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама – медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть себе находят убитых дозорных. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние – Бричкиной и Гурвич – в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

– Из автомата стреляла когда?

– Из нашего только.

– Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. – Показал ей, как управляться, предупредил: – Длинно не стреляй, вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой – основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом – остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов – кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.

Но семь шагов этих были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор – ему это непонятно. И поэтому главное тут – не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались?

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной посеколо, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды требовались, но сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, и – все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат: Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать – скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить – силой затраченной, напряжением, опасностью, – на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала – это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка – всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

– Все, – вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер – ладони в крови стали: посекло, видно, осколками.

– Задело вас? – шепотом спросила Осянина.

– Нет, – сказал старшина. – Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке стиснув. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было. Унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел – Осянина с вопросом:

– Вы коммунист, товарищ старшина?

– Член партии большевиков...

– Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков.

– Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова – в копоты пороховой, что цыган – глазищами сверкает.

– Трусость!

Вон оно что...

– Собрание – это хорошо, – свирепея, начал Федот Евграфыч. – Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?..

Молчали девочки. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

– А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. На месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос – у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

– Полторы.

– Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девочки, во втором бою только видна. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

– Верно...

– Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной – вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполняйте.

Молча поели. Федор Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидел, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому – аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уже вниз осело, край леса темнеть начал, и старшина забеспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало

опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:

– В поиск со мной пойдет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите – затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем – отходить. Скрытно отходить через наши прежние позиции на восток. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак этой в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный – редкий мужик этим похвастать может. Но командир – он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал до тонкостей, назубок знал и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

– Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что бы ни случилось, молчать. Молчать, товарищ боец, и про слезы забыть.

Слушая его, боец Четвертак кивала поспешно и испуганно...

11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков над ними голову ломал. Врага понимать надо. Всякое его действие, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война – это ведь не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из этого всего извлечь мог, пока было неясно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал данные, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло – так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И – две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти – она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть все, вычеркнуть из памяти, хотела – и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, не догадывался, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть приметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть волоча, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

– Жди, – шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

– Пристрелили, – определил старшина. – Свои же, в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот – самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого – зверь. О двух ногах, о двух руках и – зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего уж по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и – вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

«Такой, значит, закон? Учтем».

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее – и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-дурному боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул.

– Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих, – стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить – это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть – не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

– Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

– Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он – не гляди, что пост большой занимает, – простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится...

– Ну, зачем же вы обманываете, зачем? – тихо сказала Галя. – Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он вовсе, а Островский. И не видит ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

– Ну, может, другой какой Корчагин?..

Совестно стало Васкову, даже в пот кинуло. А тут еще комар насадет. Вечерний комар, особенный.

– Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он обрадовался. Сроду Васков по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

– В куст! – шепнул. – И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и – вовремя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его – нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больше мог он им ударить. Только уж спешить здесь было нельзя, никак невозможно, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставляют, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза.

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не забывал. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь ничего не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккуратно в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться следовало, дышать перестав, раствориться

во мхах да в кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шарахнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, немцы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали что к чему и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты напрямую шли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же тихо снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их были бы подставлены охотничьему прищурю старшины.

С шумом раздалась кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

– Ма-а-а!..

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули и что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, а только за спиной его раздался треск и топот, и он сообразил, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, и бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только успел главное решить: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться требовалось, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж этих-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, от пуль уходя, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для такого маневра осталось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому он и злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились, не поняли, что один он здесь, если строго судить. Совсем один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек – полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако

это нырнуть – и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки туманов к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем неумоготу становилось. А потом опять выныривал: здрасте, фрицы, я живой...

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека ситорешето делали. А тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и смолк. Патроны кончились, перезаряжать нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке – безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали – только щепка летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало. Но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде бы не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться необходимо, рану перевязать, передохнуть; тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить, ног не жалея.

Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уже в глотке где-то булькало, когда он к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что шесть их оставалось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими сапогами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел – начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило вроде бы немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли.

Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ту грязь не стал. Замотал поверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясась в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было: прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика: по их понятиям, болото непроходимым считалось, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не таилось, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то все не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался полностью, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной

топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны остались все шесть вырубленных им слег. Шесть – значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры...

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось. Даже надежд, что помощь придет...

12

И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

– Не дошла, значит, Бричкина.

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеясь, что живы они. И еще думал о том, что всего оружия у него – один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека – лежать бы старшине Васкову носом в гнили, покуда не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что пер он грудью на берег, и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха сигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровно половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать ему теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей сигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, до своих надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен он был, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался что к чему и считал. И по счету этому выходило, что фрицев бегало за ним никак не более десятка: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало не на догадки, а на полную дюжину, потому что накануне в беготне да суете целиться старшине было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Вось-озеро, и Синюхина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого – ни своих, ни чужих – заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях этих отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя ему было собой рисковать, никак нельзя, потому что, при всей горечи и отчаянии, побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла. И, нагнавшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет был прост, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи уж белыми были, а соваться в неясность фрицам совсем даже не следовало. Следовало ждать до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Васков понимал, что людей поблизости быть не должно, но рисковать сейчас было ему никак невозможно.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье своем собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и испуганный людьми, которых встречал редко и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц уши наострив, стал туда же смотреть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользкой двинулся туда, откуда этот заяц выскочил.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где обросшее. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит...» – сообразил старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую кустами дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидел примятую траву у крыльца, высохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад. Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же диверсанты дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так им было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер. И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то негромко звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то он знал восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому остальные в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы ведь не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемышку меж озерами. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас находилось, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерком тянет, просто ждал, когда здоровый немец вылезет из избы.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою погиль: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от двери и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй – тот, раненый, – прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь? Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, – и все. Вмиг притапают немцы прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь...

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно, но не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Почему? Чего ждал?

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтобы внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, взял автомат, сорвал с пояса сумку с запасными обоймами и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал, и – пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если, конечно, не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае собственного невозвращения, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что исполнили они тот приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Он передохнул, послушал, не слышно ли где чего тревожного, с осторожностью двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда еще все живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрал уже как бы и не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться, как шепот услышал:

– Федот Евграфыч...

И крик следом:

– Федот Евграфыч! Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подбрав. Кинулся навстречу: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют – грязного, потного, небритого...

– Ну что вы, девчата, что вы...

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

– Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

– Не хотелось, товарищ старшина.

– Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала.

В кустах у них мешки припрятаны были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать начал, Женька спросила:

– А Галка?

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил, так и рассудив. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Ну, и табак, само собой. Но махорку он только на руке взвесил и отложил. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял свою кружку:

– Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак – в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших, а там и бой пора принимать. Последний, по всей видимости...

13

Бывает горе – что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает – света невзвидишь. А отвалит – и ничего вроде, и дышать можно, жить, действовать. Как и не было ничего.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться начали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза каждую вещь перещупал – нету, пропали. Как не было.

Запал для второй гранаты да патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала – просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

– Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивать. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

– Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова брякнула, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться – три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, когда с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

– Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

– Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

– Федей звать, наверно, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно, да уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали да проверили и поэтому появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты угрозу эту почувствовали, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав каждой позицию и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому как Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду. А до этого и дышать через раз, чтобы птицы не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в канал стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать тот момент, когда фрицам надоест в прятки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков выглянул из укрытия: на плесе немец из воды к берегу на карачках спешил, к своим спешил, назад, и пули вокруг него

щелкали, но не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу (подвернул он ее, что ли?..) по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая его, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к девочкам кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделаться было нельзя, потому что затвор после выстрела пере-дернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал на спуск – напротив, в кустах, два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно – держать. Держать эту позицию, а то сомнут – и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девочек еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют – значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для острастки, и снова замерло все, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз фрицы в этом месте так просто не полезут. Они где-то еще попытаются щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девочек...

Не успел Васков всей диспозиции продумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова напрямиком сквозь кусты ломит.

– Пригнись!

– Скорее! Рита!..

Что с Ритой, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался.

Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упиравшись спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

– Чем? – только и спросил Васков.

– Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял – не хотела принимать их, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все – и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень...

– Тряпок! – крикнул. – Белые давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое...

– Да не шелк! Льняное давай!..

– Нету...

– А, леший! – метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех...

– Немцы, – одними губами сказала Рита. – Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать, губами шевелила – не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшее, – зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложив сверху рубаху, стал бинтовать.

– Ничего, Рита, ничего. Он поверху прошел, кишки целые. Заживет.

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

– Иди. Туда иди... – с трудом сказала Рита. – Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху – по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку...

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить отсюда, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом, и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить – не смог, и побежал в кусты, чувствуя, как с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была – с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

– Ну, Женька, это уж чересчур. Куда готовишься?

– На вечер! – гордо объявила Женька, хотя и знала, что отец имел в виду совершенно иное.

Они хорошо друг друга понимали.

– На кабанов пойдешь со мной, дочка?

– Не пуцу! – пугалась мать. – С ума сошел: девочку на охоту таскать.

– Пусть привыкает! – смеялся отец. – Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

– Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ евгенерал...»

– Врешь ты все, папка!

Счастливым было время, веселое, беззаботное, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир да стрельбища, лошади да мотоцикл, а то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

– Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

– Пусть болтают, мамочка!

– Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно так?

– Нужен мне Лужин! – Женька презрительно передергивала плечами и убегала.

А Лужин был интересен, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Боевого Красного Знамени, за финскую – «Звездочку». И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью – прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо, – Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несурово и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет...

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

– Женья погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

– Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

– Женья сразу... умерла?

– Сразу, – сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. – Они ушли. За взрывчаткой, видно... – Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: – Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы. Закачался, баюкая раненую руку.

– Болит?

– Здесь у меня болит. – Он ткнул в грудь. – Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

– Ну, зачем так... Все же понятно, война.

– Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом...

– Не надо, – тихо сказала она. – Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом – канал.

– Да... – Васков тяжело вздохнул, помолчал. – Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся – и концы нам. – Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. – Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

– погоди. – Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. – Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликком зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

– Не тревожься, Рита. Понял я все.

– Спасибо тебе. – Она улыбнулась бесцветными губами. – Просьбу мою последнюю выполнишь?

– Нет, – сказал он.

- Бессмысленно, все равно ведь умру. Только намучаюсь.
- Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
- Поцелуй меня, – вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб.

– Колючий... – еле слышно вздохнула она, закрывая глаза. – Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке. Навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймляли пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго всматривался в них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами:

– Прости, Женечка. Прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил – только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой.

А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале ствола его нагана.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь ему, вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившейся, въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там – враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина продолжал терпеливо ждать. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал – переливал тяжесть по капле, чтоб не хрустнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного

часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел – поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу.

– Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал: в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

– Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

– Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

...Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть спуск автомата нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец...

Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские...

Эпилог

«...Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан: седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домоткано – тятей. Что-то они тут стали разыскивать – я не вникал...

...Вчера не успел дописать, кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу – она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и – не решился.

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня и разглядел...»

Завтра была война

Глава 1

– Ясненько-ясненько-прекрасненько! – прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала ее, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникающая в Зиночкиной голове, требовала действий, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу реки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она все лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка еще плескалась, потому что очень любила бултыхаться на мелководье. Потом на нее прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как еще не научилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение екнуло, но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пугающим. Это был какой-то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения, которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка еще не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задернула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая ее куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики... Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут же отпустила: резинка туго щелкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймется застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминому зеркалу. Она приближалась к нему как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И, только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку большая грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бедра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бедра еще можно было терпеть: все-таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали всерьез: они сбегали каким-то конусом, несоразмерно утоньшаясь к щиколоткам. И икры еще были плоскими, и коленки еще не округлились и торчали, как у девчонки-пятиклашки. Все выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.